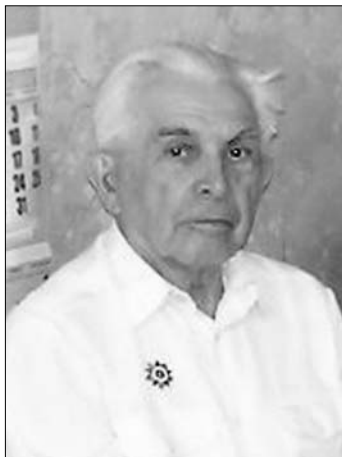


## НИКОЛАЙ ОВЧИННИКОВ



## ЧАС СИЕСТЫ

### РАССКАЗ

...Кирилл бежал зигзагами, стараясь как можно быстрее скрыться за невысокими холмами, поросшими редкими пыльными деревьями. Автоматные очереди подстёгивали его, как удары бича. Он несколько раз падал, вскакивал и бежал опять. Кирилл бросил сумку с гранатами, но автомат зажал окостеневшей рукой намертво.

Перед самыми деревьями пуля ударила его в левое плечо. Он упал и то ли от страха, то ли от большого физического напряжения потерял сознание.

Очнулся он оттого, что на лицо ему лили воду. Кирилла подобрала солдата второго взвода. Перевязали рану, и он на своих двоих доковылял до ротной медсанчасти.

Рана была пуляковая. Пуля по касательной задела мякоть плеча. При таком ранении медсанбат не требовался, и Кирилл остался в строю.

Он ещё ходил на перевязку, когда боевые действия закончились. Вскоре Кирилл Четвёркин, рядовой мотострелковой роты, был уволен в запас вместе со сверстниками, выслужившими свой срок. С войны он принёс, кроме пулевой раны, медаль “За отвагу”.

А Пётр Юсов, Петька, дружок и земляк, с которым они вместе напоролась на засаду, в часть не вернулся. Кирилл умолчал о том, что Петька, бежавший следом, отстреливался, что после взрыва гранаты он звал Кирилла.

---

*ОВЧИННИКОВ Николай Михайлович родился в 1920 году в Сызрани в семье рабочего-железнодорожника. В 1940 году был призван на действительную военную службу. Великая Отечественная застала его на западной границе у города Львова. Войну закончил в немецком городе Бреслау. После демобилизации окончил Сызранский учительский и Куйбышевский педагогический институты. Работал в школах учителем, завучем, директором. Отличник народного просвещения. Член Союза писателей России. Автор нескольких книг прозы. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Алексея Толстого. Почётный гражданин г. Сызрани.*

Петьку посчитали пропавшим без вести, только Кирилл был уверен, что Петька погиб. И осталась в памяти бойцов роты песня, которую пел Пётр Юсов под гитару:

*...Взвод идёт по шоссе,  
Развернув боковые дозоры,  
Головная застава зорко смотрит вперёд.  
И не знают солдаты,  
Вчерашние наши мальчишки,  
Что за тем поворотом  
Смерть солдатские жизни на выбор возьмёт...*

А в памяти Кирилла Четвёркина осталась ещё и вина перед Петькой. Звал Петька его в тот памятный день, на помощь звал, наверняка раненный. И не по себе становилось Кириллу, и стыдно, и больно за свою трусость. А ведь он, Петька Юсов, последним делился с Кириллом.

С увольнением на “гражданку” возникли новые проблемы, и Петька Юсов стал забываться. И боль душевная, тайная, стала слабеть, а потом и совсем пропала.

В последний раз Кирилл вспомнил Петра на свадьбе. После ритуальных “горько!” он произнёс тост.

Толпа родственников и гостей притихла, увидев помрачневшего Кирилла с бокалом в руке.

— За Петра Юсова, у которого я в неоплатном долгу. И не чокаться! Погиб Петро, вечная ему память.

Все молча выпили, только дядя Эдуард обронил: “Пиши долг на забор, забор упадёт и долг пропадёт...”

Стал Кирилл шоферить в автокомбинате. И шоферил бы до пенсии, если бы не дядя Эдуард, материн брат.

Дядя Эдуард по метрикам был вовсе не Эдуард, а Ефим. Мать рассказывала: “Смолоду Ефимка был непутёвым. Жилка в нём была торгашеская. Бывало, проводит его мама в школу, а он по магазинам, по толчкам-базарам шастает. Чай, все цены знал, что почём...”

В автокомбинате Кирилл зарабатывал неплохо. Копил на машину. Жена Катя работала в школе. Математиком. От комбината квартиру получили. Обстановкой обходились скромной. Детей не заводили: “Вот купим машину, тогда...”

И тут, как гром среди ясного неба: ваучеризация, приватизация. Полновесные рубли превратились в копейки. Было отчего опустить руки. Растерялся Кирилл. Растерялась предусмотрительная и расчётливая Катя. Разводили руками родители-пенсионеры.

Не растерялся дядя Эдуард-Ефим. Пришёл его звёздный час. Пригодились его широкие знакомства.

Бывало, проводится месячник по безопасности движения — Эдуард на виду. Конференция учителей — Эдуард в активе, с обществом охраны природы — на короткой ноге.

То статейку тиснет в газете, то по городскому радио выступит. И всё — в поддержку!

“Городской комитет КПСС и лично первый секретарь давно указывали на недостатки и приняли продуманное решение...”. Или: “...Посетившая выставку секретарь горкома Анна Петровна Люлина благодарила художников и дала весьма ценные указания о направлении дальнейшей творческой работы...”.

Заметный человек в городе был Эдуард Балалаев. И должностишку получил в жилищно-коммунальном секторе. неброская, да прибыльная.

В год-два дядя Эдуард из скромного горисполкомовского служащего превратился в “делового человека”, как на первых порах называли оборотистых, обходящих закон людей.

Советская власть рухнула. Но её руководящие товарищи возглавили акционерные общества, торговые дома, вошли в советы работодателей. В обращениях друг с другом путались. По старинке назовут “товарищем”, а если хотят досадить — “господином”. Закрымзенские сложили частушку:

*Был Гаврила секретарь —  
Власть Советов прославлял,  
Стал Гаврила господин —  
И у власти стал один...*

Совсем пали духом Кирилл и Катя. Вот тут и порадел родному человечку дядя Эдуард.

В один из майских дней дядя заявился в гости к Кириллу. Он вальяжно расположился за столом с нехитрым угощением. Выпил стопку водки, лениво поковырял вилкой в салате — Катя полкило свежих помидоров купила. Привозных. Не хотела ударить лицом в грязь. От второй стопки дядя отказался:

— Кроме сухого “рислинга”, не употребляю. Печень берегу.

Скусающим взглядом осмотрел обстановку, спросил:

— Ты всё в комбинате шоферишь? Там на кусок хлеба дадут. Но — без масла!

Ещё раз оглядел комнату: ситцевая занавеска на дверях в спальню, комод с тусклыми железными ручками на ящиках — приданое Кати, трельяж на нём с облупившейся амальгамой на краях стёкол. Широко зевнул. Раздумчиво проговорил:

— Увольнения в вашем автокомбинате намечаются. Перевозки сократились. Машины старые, раздёрганные... Торговые фирмы своим транспортом обзаводятся. Смекаешь, Кирилл, конкурировать с иномарками вы не сможете. — И, без видимой связи с предыдущим, спросил:

— Зарплату в последний раз когда получил?

— В феврале.

— Значит, на Катеринину зарплату существуете.

Кирилл молча пожал плечами. Катя опустила голову.

— Помочь хочу вам. Ты, Кирюха, мне не чужой, родная кровь. Переходи ко мне. В месяц будешь получать...

Он назвал сумму, которую Кирилл не смог бы заработать и за полгода.

— ...Будешь моим личным шофёром.

И, считая вопрос решённым, дядя Эдуард добавил:

— На кого, как не на племянника, можно положитьсья? А это — аванс.

Он положил на стол увесистую пачку денег. Кирилл и Катя были настолько поражены, что не могли вымолвить ни слова. А дядя Эдуард, надевая шляпу, распорядился:

— Пошли, Кирилл.

У подъезда стояла машина цвета морской волны. “Тойота”, — определил Кирилл.

Дядю Эдуарда встретил и предупредительно открыл дверцу шофёр. Был он худ и нескладен. Сиреневый пиджак и рубашка с полосатым галстуком казались с чужого плеча — так они не вязались с испитым лицом и сивыми вислыми усами.

— Мирон, — сказал шофёру дядя Эдуард, — ты у меня больше не служишь. А ты, Кирилл, садись за баранку.

И шофёр Мирон, и Кирилл окаменели от неожиданности. Лицо Мирона пошло красными пятнами. А дядя Эдуард, неторопливо, по-хозяйски усаживаясь на заднем сиденье, приказал:

— Едем в офис. Садись, Кирилл.

— Не могу, — насколько мог, твёрдо сказал Кирилл. — Хоть и немного, но я выпивши. Да и документы надо оформить... случись что, любой гаишник...

— Плевал я на гаишников, — перебил дядя, — но ты прав, за рулём, Кирилл, будь абсолютнo трезвым. Мирон — в офис!..

Служба у дяди Эдуарда стала первой ступенькой бизнес-карьеры Кирилла Четвёркина.

И пошло-поехало. Кирилл — личный шофёр. Кирилл — телохранитель. Кирилл — доверенное лицо хозяина в бизнесе. Кирилл — младший партнёр дяди Эдуарда, управляющий одним из городских рынков.

Он раздобыл, Кирилл Четвёркин, потерял армейскую стройность, отрастил брюшко. Уже не он возил хозяина в модной иномарке, а его, Кирилла, возил личный шофёр. Барские нотки появились в разговоре с подчинёнными, и к нему, заискивая, обращалась за спонсорской помощью спортивная, клубная и журналистская шушера.

Вместе с дядей Эдуардом побывал Кирилл и на модном испанском курорте, “где небо южное так синее, где женщины, как на картине”. Был на корриде. Смотрел знаменитые испанские танцы — сарабанду и арагонскую хоту, отбивая ладони от восхищения. Оттуда, из Испании, он вывез и завёл в личный офисе “час сиесты”, час полуденного отдыха, час, когда кому бы то ни было запрещено беспокоить его, Кирилла Четвёркина.

Говорят, занятие определяет понятие. Рынок, базар, которым владел Кирилл, многому его научил. Работая на автокомбинате, Кирилл свято чтит неписанный шофёрский закон: помоги товарищу в беде. Помнится, ехал он с грузом из Кузнецка. Зима. Под вечер на трассе — ни души. Оно и понятно: люди к ночи стремились домой, в тепло. И он гнал домой, усталый и озябший. А тут — грузовик на обочине. И шофёр, мальчишка совсем, стоит, руками машет.

Остановился, вышел из кабины. Парнишка чуть не плачет: “Помоги”. У автомобиля полетел кардан. “Две машины останавливались, да у обоих шофёров троса буксировочного не было. Дотяни до города, до стоянки...”

Приволок Кирилл его машину к своему двору, парня отогрел, накормил, ночевать оставил.

Теперь Кирилл нагляделся на рынке всякого. В лицо узнавал перекупщиков. Закрывал глаза на бритоголовых “крутых”, собирающих дань рэкетиров-вымогателей. На базаре можно было “купить девочку” хоть на час, хоть на ночь — имелись торговцы и этим товаром.

Кирилл уже не удивляло обилие нищих, он просто не замечал их. Но однажды...

Однажды, проходя в офис мимо торговых рядов, он услышал негромкий рокот гитары и песню. Он остановился, нашёл глазами исполнителя.

Нет, это не был нищий. Это был торговец, такой же, какими были все эти женщины и мужчины с рыбой и конфетами. С бутылками разноцветного иностранного пойла, с кроссовками и куртками, разложенными и развешенными в торговых рядах.

Товар его, правда, был необычным. Маленькие, величиной со спичечную коробку головы известных деятелей, карикатурно-шаржированные. Здесь криво усмехался московский мэр Лужков в неизменной кепочке. Фельдфебельски набылчился генерал Лебедь. Злобный бородач Басаев и луноликий Егор Гайдар в паре с Чубайсом, гордо вздёрнувшим остроносое лицо. Президент Ельцин соседствовал с вислощёким Колем и узколобым Клинтонем. Рядом с пятнистой головой Горбачёва притулилась мордастая толстогубая голова Новодворской. Головы из обожжённой глины были раскрашены масляными красками. Здесь же стояла синяя пластмассовая миска, в которой блестели монеты.

И кому было какое дело до того, что вот этот гражданин, занимающийся своим мелким бизнесом, играет на гитаре и поёт? Может, ему весело? Может, он поёт от полноты чувств и радости жизни? А то, что в миску бросают монеты, — это частное дело каждого. Человек не христарадничает, он поёт:

*...И не знают солдаты,  
Вчерашние наши мальчишки,  
Что за тем поворотом  
Смерть солдатские жизни на выбор возьмёт...*

Кирилл остолбенел: Петькина песня! Продравшись через толпу зевак, он увидел — нет, не Петра Юсова. На гитаре играл старик в серой неопрятной бороде и синих очках. Жидкие седые волосы вылезали из-под армейского берета, старенького, с выцветшими полосками российского вымпела. Ни лицом, ни одеждой человек не напоминал Петра Юсова. Но вот голос...

Кирилл стоял, слушал, и ознобная волна поднималась по спине. Голос был Петькин. Петькины были придыхания и звенящая грусть. Ещё там, в казарме, послушав Петьку, хохол-ротный, который знал толк в песнях, сказал: “Гарна песня. Но ты, Юсов, поёшь так, будто с невестой прощаешься”.

*...Горы, горы кругом,  
Молчаливые дикие горы,  
Из ущелий ползёт на дорогу туман.  
Этот мир и покой,  
Приглядись, так коварно обманчив:  
Командир хмурит бровь,  
Командир хмурит бровь:  
В чьих руках перевал?..*

В толпе негромко переговаривались.

— Старик, а голос-то молодой.

— Да не старик он вовсе, хоть и с бородой. Вон их сколько шляется, молодых да бородатых!

— Чай, борода-то сивая.

— Говорят, из плена пришёл, то ли из Афгана, то ли из Чечни.

— Худющий.

— В плену — не у тёщи на блинах: и похудеешь, и поседеешь...

*...Снайпер выберет цель,  
Пулемёт захохочет над жертвой,  
Сокрушив БТР, гулко мина рванёт,  
А в родимом краю  
Задрожит русской матери сердце —  
Больше станет в России,  
Больше станет в России и вдов, и сирот...*

— У Анны-то, у Рассоленковой, двое ребятишек остались. Муж-то, вертолётчик, в Чечне сгинул.

— А у Гришиных? Забрали Володьку, через месяц похоронка пришла... Пацан совсем.

— Говорят, энтот в плен раненый попал, товарищ вроде бы его бросил, убёг...

— Того не может быть! Сам погибай, а товарища выручай! Мы в сорок втором...

Кирилл выбрался из толпы и заторопился в офис. Солнце уже сильно припекало, и то ли от начинающейся жары, то ли от волнения горло его пересохло. “Петька или не Петька?” — мучился сомнением Кирилл, входя в свои апартаменты.

Девушка-секретарь, оберегая шефа, стояла насмерть. Попасть к Четвёркину домогались трое.

Один — тощий, с оловянными глазами, вертлявый господин — назвался журналистом, работником местной газеты.

— У нас с Кириллом Владимировичем очень доверительные отношения, — внушал он. — Он сам мне назначил встречу в половине первого.

— Вы знаете, — вежливо, но твёрдо парировала девушка, — шеф пунктуален. Час с двенадцати до тринадцати недоступен. В этот час ни сотрудников, ни, тем более, посетителей он не принимает.

Второй посетитель — розовощёкий крепьш, этакая гора мяса, обтянутая белым полотном, — мягко улыбаясь, без видимого усилия отодвинул секретаря от двери и дёрнул за ручку. Но дверь не поддавалась. Он дёрнул ещё.

Опомнившаяся секретарь заверещала пронзительно, как базарная торговка:

— Закрыто! Закрыто же! Куда вы ломитесь, как...

Она не сказала, с кем можно было бы сравнить этого монолитного мужчину и, почти успокоившись, села к столу.

К ней подошёл третий посетитель, поскрипывая протезом. Головной убор — берет армейского образца — он держал в руке. Настенное зеркало приёмной отразило пряди седых волос и синие очки.

— Девушка, — сказал он, — позвоните Кириллу. Скажите, что к нему пришёл Пётр Юсов. Товарищ он мой, однополчанин.

Он неловко переступил, поправляя за спиной гитару на широком ремне.

— Поймите меня, — взмолилась девушка, — он меня выгонит с работы, если я нарушу его запрет. Этот час для него священен — час сиесты. Ну, подождите, ведь осталось-то всего десять минут!

А за окном разливался жара. Ни вентилятор под потолком, ни вентилятор напольный, перемешивая лопастями жаркий воздух, пролады не давали.

— На днях кондиционер поставят, — ни к кому не обращаясь, сказала секретарь. — Кирилл Владимирович распорядился.

Она посмотрела на часы:

— Через три минуты он откроет.

Кирилл, навалившись грудью на стол, дышал редко и тяжело. С ним такого ещё не случалось, хотя стакан коньяка стал для него нормой в час сиесты. Он прилежно следовал совету дяди Эдуарда-Ефима, который уверял, что от “принятия аква виты” “у Христа и у Иуды расширяются сосуды”. И вдруг...

Вдруг стены офиса, лепной потолок с люстрой, окна с закрытыми жалюзи стали медленно вращаться. Кирилл ухватился за край стола, потом навалился на него, сиюсь дотянуться до кнопки звонка. Дневной свет стало затягивать кроваво-красной мутью, исходящей от косматого яростного солнца. Кирилл почуял калёный запах пустыни и услышал сухой треск автоматных очередей.

...Нарвавшись на засаду, они бежали вместе с Петькой Юсовым. Петька что-то кричал ему, указывая на завал из каменных глыб, но он продолжал бежать, по-заячьи петляя, к чахлым деревцам на выжженных солнцем холмах, подгоняемый диким страхом. Он бежал и твердил, не вдумываясь в смысл: “Господи, помоги... Господи, Сыне Божий, да святится имя Твоё... Господи...” — твердил всё, что когда-то слышал божественное, к чему относился равнодушно, походя забывая. Вот, вот они, спасительные холмы, скорее к ним, под пыльные деревья...

Яркая вспышка, как от взрыва фугаса, ослепила Кирилла. Ему вдруг стало покойно и тихо, он глубоко вздохнул и обмяк.

— Девушка, пора. Кончился час сиесты Кирилла Владимировича, — кивнул журналист. — Он ведь сам время назначил...

“Гора мяса” в белом решительно направился к двери, но секретарь пояснила:

— Кирилл Владимирович открывает дверь сам.

Часы в приёмной пробили час.

Секретарь, поправив причёску, направилась к двери. Она робко потянула за бронзовую ручку. Дверь была на запоре, а в кабинете стояла тишина. Растерянно пожав плечами, девушка подняла трубку телефона:

— Кирилл Владимирович... Алло, Кирилл Владимирович...

Пётр Юсов, поскрипывая протезом, подошёл к двери и громко постучал в неё кулаком.

В приёмную вкатился человек без пиджака. Розовые подтяжки придерживали широкие брюки.

— Наденька, позвоните нашему юристу, чтобы срочно к шефу... одна нога — там, другая — здесь: из налоговой инспекции пожаловали.

Улыбаясь, он дёрнул дверь.

— Яков Абрамыч, — затараторила секретарь, — Кирилл Владимирович не открывает. Я звонила... стучали... Уж не случилось ли чего?!

— Охрану, быстро! — крикнул тот, кого секретарь назвала Яковом Абрамычем. Ворвавшимся через минуту людям в камуфляже скомандовал: — Дверь! Взломайте дверь!

Под дружным натиском здоровенных мужиков дверь с треском распахнулась, вырвав часть косяка.

Пётр Юсов стоял в стороне от охватившей офис суматохи. Среди белых халатов мелькали люди в милицейской форме. Девушка-секретарь плакала, и по её лицу тёмными струйками стекала краска макияжа.

Странное чувство испытывал Пётр. Вначале было какое-то удовлетворение. Торжество справедливости. Судьба наказала того, по чьей вине он, Пётр Юсов, перенёс годы страданий. Он никогда не забывал того дня, когда в одиночку отбивался от группы боевиков. Засев среди каменных глыб, Петр прицельно, с какой-то холодной яростью, расстреливал чернобородых. Их было немного — человек шесть-семь. Четверо из них попали под его огонь, остальные, беспорядочно отстреливаясь, стали отходить, ударив напоследок гранатой в каменный завал. Осколок от неё попал Петру в ногу.

Если бы Кирилл был рядом!.. Но Кирилл убежал, а он, Пётр Юсов, лежал среди раскалённых камней, то приходя в сознание, то теряя его.

Боевики взяли его в полдень. Непонятно, почему не пристрелили сразу. А дальше — плен. Год за годом, год за годом...

Носилки, накрытые простыней, пронесли в санитарную машину. Галдящие сотрудники и толпа зевак стали расходиться.

Пётр Юсов, припадая на ногу с протезом, шёл по базарной площади. Невыказанная обида уступила место горькому размышлению. Ему даже стало жаль Кирилла.

Достиг человек богатства, власти. А счастлив ли? Спит ли спокойно? Или по-прежнему рвёт сердце постоянным стремлением хватать, грести под себя, унижая и обездоливая других? А финал? Вот он, финал. Овдовела жена. Детей у Кирилла не осталось. Ради чего же прожита жизнь?

Подходя к автобусной остановке, Пётр замедлил шаги, а потом и совсем остановился. Взгляд его потеплел: обеспокоенная его отсутствием, навстречу бежала Шурка, его жена.

## ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО

### РАССКАЗ

Зрители дружно зааплодировали, призывая артистов к началу концерта. Свет люстры стал меркнуть, и перед затемненным залом освещенной осталась только сцена с голубым занавесом. По низу занавеса были вытканы зелёные волны. Из этих волн неожиданно возникла женщина в длинном чёрном платье, усеянном блёстками. Высокая причёска, красивая шея и тонкие белые руки делали её похожей на фарфоровую статуэтку.

Она подняла руку, и аплодисменты затихли.

— Дорогие друзья! — голос у неё был сильным и мелодичным. — Двести лет назад в самом центре Европы, в русской Польше, вспыхнуло восстание. Восставшие боролись за независимость, но были разбиты. Уцелевшие предводители восстания бежали за границу. Среди них был и граф Михаил Клеофас Огинский. Храбрый офицер и патриот, он был к тому же скрипачом и талантливым композитором. Один из его полонезов написан, можно сказать, кровью сердца.

Занавес медленно пошел вверх, а женщина плавно повела рукой:

— Огинский! Полонез “Прощание с Родиной”! Исполняют...

Мелодия возникла, как ещё не осознанная боль, как горькое размышление о случившемся. Она погасила приглушённый говор и движение в зале.

Вслушиваясь в мелодию, Виктор Алексеевич прикрыл глаза. Ему вдруг открылась мятущаяся душа неведомого польского офицера Огинского. Мо-

жет быть, он, этот граф, стоял на крутом берегу реки и в последний раз смотрел на островерхие черепичные крыши города, на острый шпиль костёла.

Не так ли смотрел в первые дни войны на покидаемый Львов и капитан Сильченко, их командир роты... а он, тогда ещё сержант Колесников, нетерпеливо ждал его, тревожно глядя в небо, в котором разворачивалась для бомбового удара девятка “юнкерсов”. Он тогда ещё не понимал, что капитан прощается с родным городом, не ведая своей дальнейшей судьбы. А впереди капитана поджидала гибель на Карельском перешейке в сорок втором году.

Не ведал своей судьбы и сержант Колесников. Всю огромность, всю тяжесть свалившегося на него горя он ощутил лишь неделю спустя после начала войны, отступая через небольшой городок.

Предчувствуя оккупацию, жители забирали из магазинов и лавок свёртки тканей, муку, крупу, несли коробки с обувью. На дороге под ногами солдат валялись рубли, трёшки, пятёрки, блестела мелочь. А солдаты шли и шли. Хмурые и молчаливые. И пыльные сапоги топтали никому не нужные деньги.

Вот когда он, сержант Колесников, почувствовал невыносимую боль разлуки с оставляемой врагу землей, с этими притихшими ребятишками, с плачущими женщинами, с накупленными стариками, молча смотревшими на уходящие войска...

А скрипка пела и плакала. Пела голосом женщины, оплакивающей разбитые надежды, невозвратимую потерю.

В рокоте рояля Колесникову слышались то пулемётная стрельба, то гул танковых моторов. Он будто наяву увидел взорванные фермы моста через Вислу, небольшой каменно-черепичный Сандомир с остановившимися часами на башне городской ратуши.

Шла весна сорок пятого года, конец войны был близок. И всё чаще в коротких солдатских снах виделась Колесникову далекая Сызрань и скромная родительская квартирка на Интернациональной улице...

Мажорные аккорды полонеза напомнили бывшему сержанту танковый бросок через Рудные горы на выручку восставшей Праге...

Зрители стоя аплодировали артистам, совсем не замечая капитана Колесникова, сидящего с закрытым ладонями лицом...

## ЗАГОВОРЁННЫЙ ПЯТАК

### СКАЗ

Прилаживая к башмаку подмётку, дед мурлыкал песенку. Потом, будто что-то вспомнив, спросил:

— Ты про орлянку слышал?

— Игра, вроде, — неуверенно ответил я.

— Значит, слышал, — удовлетворённо сказал дед. — Да и как не слышать, ежели каждый праздник без орлянки не обходился. Игра-то простая, не то, что карточная, — знай себе монету вверх мечи. Летит она, как бурбалка, да на землю падает. Решка — плакали твои денежки. Орлом упадёт — весь кон твой. Бывало, проигрывались до креста. Иной всё с себя спустит, без малого нагишом домой идёт. Про счастливых игроков говорили: у него пятак, мол, заговорённый... А ведь и впрямь можно у нечистика выпросить счастливую монету. Был такой способ. Только удаётся это один раз в году, на Пасху, в самую заутреню...

— Расскажи, деда, — загорелся я.

Ему, видимо, и самому захотелось вспомнить старое. Он ухмыльнулся, отложил работу.



— Расскажу, коли просишь. Да и глазам пора роздых дать, слабые стали. Так вот, в самую заутреню лезь на подловку и становись прямо к печной трубе. Да слушай, когда церковный колокол ударит. Как ударит колокол, значит, полночь наступила, и поп в церкви возглашает: “Христос Воскрес!”. А ты со своим пятаком аль семишником ответствуй: “Орлянка здесь!”. Колокол опять ударит, а поп второй раз возгласит: “Христос Воскрес!”. И ты второй раз ответствуй: “Орлянка здесь!”. И так трижды. Потом спускайся с подловки, ежели... живой останешься.

— Как это “ежели живой”? — оторопел я.

— А так. Нечистики задарма счастливую монетку не дадут, всякое случалось. Ну, уж коли перетерпел — орлянка твоя, в проигрыше не будешь.

За окном повалил снег, и вдруг, откуда ни возьмись, на большой куст сирени опустилась целая стая снегирей. Они расселись по веткам, и голый, безлистый и унылый куст преобразился: красногрудые птицы закачались на его ветках, будто налитые райские яблоки.

— Ну, вот, и генералы мои прилетели, — сказал дед Михаил и стал шарить рукой за верстаком. — В лесу, видать, всё снегом завалило, коли к жилию подались.

Он вытащил горсть подсолнухов, открыл форточку и высыпал их на дощечку-кормушку. Едва форточка закрылась, как снегири устремились к еде.

— Сурьёзная птица, — сказал дед, — суеты не любит. Синицы, да чётки, да ещё воробьи налетают скопом, оравой — каждая птаха норовит прежде другой зернышко урвать. Снегири — не то!..

В самом деле, снегири подлетали к кормушке по одному, по два. Неторопливо выбирали семечко и с ним отлетали на куст, где и расклёвывали его крепкими клювами.

— Всякая животинына свой обычай и свою повадку имеет, — философствовал дед Михаил. — Уж на что домашняя скотина — при человеке всегда живёт, а и к ней подход должен быть. Бывает, всем хороша корова аль коза, а молока не даёт, поскольку не ко двору пришлась, домовому не приглянулась. Вот и волтузит он, и тиранит животину. Какое уж тут молоко!

— Бывает, и людям несладко приходится от домового, — ввернул я с тайной надеждой, что дед Михаил отыщет в потайном уголке своей обширной памяти занимательную историю.

— Конечно, — согласился он. — То во сне душит, то синяков на теле наставит. Прежде-то в каждой избе свой дедушка домовый обретался. Теперь про них не слышать: верить в них перестали, они и не показываются. А были, были. Мой отец сам видел домового — как я тебя вижу. Годков десять мне тогда было...

Стая снегирей внезапно шумно поднялась и улетела, будто кусок розовой зари промелькнул мимо окна. Мы с дедом прильнули к стеклу. На завалинке соседнего дома сидел здоровенный кот — чёрный, с белыми лапками. Он тянул шею к опустевшему кусту сирени, двигал усами, принохивался.

— Так я и знал! — воскликнул дед. — Опять Грек снегирей распугал, кот соседский. Вот животинына зеленоглазая, везде нос суёт. Теперь моих генералов только через неделю ждать можно!.. Так вот, годков десять мне было, когда мой отец своего домового увидел, — принимаясь за работу, продолжал рассказ дед Михаил. — Отец мой, Иван Михальч, человек был трудящий, много разных работ перепробовал. Крестьянствовал, у помещика Серова землю арендовал, да земля не прокормила. “Казанку” строил, в насыпь землю возил, а как рельсы положили — в извоз ушёл: то хуторских с дощаников на базар отвезёт — вишни отголь много шло, то на мельницы зерно аль муку на Купеческую пристань доставит. Так и вертелся. Семья большая, все есть хотят...

В извозе первейшее дело — лошадь. И была у нас лошадёнка немудрящая, светленькая, а грива чёрная. Сама тощенькая, вроде козы, а дело справляла не хуже других прочих. Так ведь продал её отец! Он, родитель мой, козыристый был, не тем будь помянут. Любил и пофорсить, и прихвастнуть. Бывало, выпьет не в меру и начнёт выкобениваться, “графом” себя называть. За то нас Графовыми прозвали, по-уличному. Сергей, брательник

мой, так Графовым и в солдаты ушёл... Так вот, лошадёнку родитель продал и на двор привёл коня. Не конь — картинка! Вороной. Ноги в чулках. Полובили мы Воронка. Бывало, вынесешь хлебца кусочек с солью, он осторожно так с ладони возьмёт, губы у него мягонькие, будто бархатные... — глаза у деда Михаила спрятались в морщинах, он улыбался в усы. — Да не пришёлся тот конь ко двору. Пуганый стал. Худеет на глазах. Отец ему и сена, и овса... коновала приглашал — доктора конского. Тот щупал животину, мял, в рот заглядывал. “Здоровая, — говорит, — лошадка”. С тем и ушёл. Совсем отец пал духом: ну, как подохнет коняга? Сумки шить да по миру идти?..

Скор был на дела родитель мой. В первый же базарный день продал Воронка. С убытком. Привёл другую лошадь. Серую. В яблоках. Соседи приходили на погляд. Хвалили: “На такой лошади настоятеля собора отца Власия возить не зазорно”. Только и эта лошадка не прижилась. С каждым днём слабеет. Глаза пуганые. Дрожит вся, и шерсть блеск потеряла.

Беда наша всей улице стала известна — как же, открыто жили. Доброты появились, советчики. Одни говорят: попа зови, пуцай святой водой конюшню окропит. Другие: козлиные рога над колодой прибей — ласка, вишь, животину мучает, зверёк этот конским потом питается... Ну, и всяко-разно...

Жил от нас через три двора дедушка Ермильч. Ветхий уж, с печки не слезал. Вечеру он к нам в избу приковылял: “Слыхал, Ваня, про твою невезучку с лошадками. Видать, не показалась ему ни вороная, ни серая” — “Кому это, дедушка Ермильч?” — “Известно кому — домовому”. Отец только рукой махнул, сказки, мол. А Ермильч своё: “Сядь, Ваня, под борону и узнаешь, что ему надо. Дело, конечно, твоё, дак уморит он лошадку — с чем останешься? Детишков твоих жалко...”.

Попытка — не пытка, спрос — не беда. Наладился мой родитель в ночь под бороной сидеть. Мы-то, ребятня, этого ничего не знали. Ночь он просидел, а заутро накинул на Серка обороть да на базар и отвёл. Продал. Привёл новую лошадку. Помню, мать — в слёзы, да на отца: и барышник, мол, и цыган, домытаришься до ручки, ни денег не будет, ни товару...

Против Серка новая лошадка была невзрачна: и росточком невелика, и мастью неброска. Но — прижилась. И трудилась исправно, пока отец извозное дело не бросил. Уж много лет спустя, под весёлу руку, он рассказал, как под бороной сидел...

— Как это “под бороной”, а зубья-то? — задал я вопрос.

— А ты слушай. К вечеру отец устроил себе место в конюшне. За колодой борону приладил зубьями вверх, сена подмостил. В ночь на эту засидку и ушёл.

“Лежу это я, — рассказывал, — темно, тихо. Серко овёс жуёт. На пожарной каланче одиннадцать пробило. В сон стало долить. Укрылся я попоной. Дремлю. Друг светло сделалось, и появился в конюшне мужичок. Маленький, ровно мальчишка лет восьми. Рубаха на нём в красну полоску, кручёным пояском подпоясана. На ногах — лапоточки. Ну, мальчишка и мальчишка, кабы не борода. А борода сивая да широкая, будто лопата. Волосья в кружок стрижены. За поясом — кнут. Ни дать, ни взять — мужик в извоз собрался. Обошёл мужичок Серка, ведром загремел. “Что за раззява этот Ванька, — слышу, — ведро к месту не приберёт. Всё-то у него раскидано да разбросано...”

“Так вот он какой, дедушка домовый”, — смикитил я. Сам лежу,дохнуть боюсь. А домовый ходит по конюшне, ворчит: “Хомут до сей поры не починил... обороть бросил... оси у телеги не мазаны, скрипят... Как сам растрёпа, этот Ванька, так и лошадь привёл дурную. У-у, скотина!” — выхватил кнут да и начал Серка пластать. Лошадь от него и туда, и сюда, а он знай ее хлещет. Потом угомонился. Присел на колоду, вздохнул да и сказал, жалостливо так: “Чтобы этому Ваньке привести лошадку-то чаленькую...”. Сказал так-то, ещё посидел мало время. Потом выгреб из колоды весь овёс, в мешок ссыпал и с тем мешком пропал. И в конюшне опят темень стала, хоть глаз коли. Слышу, на каланче два часа пробило. Вылез я из-под бороны да домой...”.

Вот так родитель мой и повидал домового, — закончил рассказ дед Михаил и стал сучить дратву.

— А потом? — спросил я. Мне хотелось, чтобы эта удивительная история продолжалась.

— Что потом? После Серка отец привёл чаленькую лошадку. Из любопытства ещё раз под бороной сидел, сам видел, как домовый за ней ухаживал: и гриву-то расчешет, и репы из хвоста выберет, и невесть откуда овса, а то и ячменя приволокёт. Любил он чаленькую...

— Прямо сказка какая-то: домовые, ведьмы, русалки. Что же их теперь-то нет?

— Веру люди потеряли, вот и нет, — отозвался дед Михаил. — Раньше в Бога верили, добро творили, а нечистый людей от добра отвращал, за людскими душами охотился. Теперь же среди людей одно зло, нечистику и во грех их вводить не надо, все души скопом ему достаются. Вот и перевелись русалки да ведьмы — за ненадобностью... И домовые заодно...